

## КОРОЛЬ ЛИР НАШЕГО ПОДЪЕЗДА

**З**вонок в пять утра пакостен и тревожен. За дверью что-то непонятное, белое, большое, вроде облака. Всклокоченные волосы, плывущие контуры... Вид тошноватого привидения.

— Вы, может быть, спали? — слышу сиплый неразмоченный голос.

Опознаю толстяка-соседа из квартиры напротив.

— Вот что... у вас есть виноград? — продолжает он.

— Виноград? Нет, не держим.

— А что есть? Из фруктов?

— Кажется, мандарины.

— Дайте тогда мандаринов.

Иду к холодильнику, приношу три штуки, вкладываю их в протянутую пухлую руку.

— Видишь, захотелось чего-то сладкого, — поясняет гость, поворачивается на слоновьих ногах и, покачиваясь, отплывает в свою сторону.

В другой раз толстяк явился перед обедом. Он и днем наносил визиты, не отягощая себя одеждой, в ситцевых мешковатых трусах. Правда, был гладко причесан

и выбрит. Пухлые щеки блестели от крема. Пошатываясь и колыхаясь грузным телом, с опорой на палку, остановился в дверном проеме.

— Я по-соседски, — счел он нужным представиться. — Лузгин, зовут Руслан Иванович. А хороший сосед, у нас говорили, лучше плохого родственника.

— Заходите.

— Да нет, я по делу. Вот что... у вас найдется шоколад?

— Шоколад? — Я не сразу оценил поворот разговора. — Нет, шоколада сейчас, кажется, нет.

Ответ мой, похоже, не понравился толстяку.

— А что есть? — сухо и даже, пожалуй, строго спросил он. — Не с чем выпить чая...

Я отправился к буфету и принес горсть обнаруженных карамелек. Толстяк презрительно посмотрел на них, но не отказался принять.

— Вот ведь, ничего не стало в доме, приходится побираться, — проворчал он, отправляясь к себе.

Этакое простодушие удивило и даже, признаюсь, раздражило меня. За вечерним чаем я сказал об этом жене. Но сочувствия у нее не нашел.

— Радоваться надо, что можем кому-то помочь, хоть конфеткой поделиться, — сказала она. — Бедный старик, наверное, одинокий, без пригляда. А у нас даже шоколадки нет, надо будет купить. Да и винограда. Вдруг еще придет...

На другой день Лузгин спросил «щепотку чая» и «жменю сахара». Как-то пришел за хлебом, потом понадобилась картошка. В его посещениях не было регулярности: то являлся едва ли не каждый день, всегда с какой-нибудь мелкой просьбой, то не показывался по неделе и по две.

— Видно, пенсию получил Руслан Иванович, вот и не заходит, — догадывалась жена. — А ты сам загляни к нему, спроси, не надо ли чего. Ведь ему неудобно просить всякий раз. Ты вон как с ним не любезен.

— Я над ним опеку не брал, — возражал я. — Да и не бобылем он живет, какие-то молодые, сам видел, ходят в квартиру.

Грузный сосед этот объявился на нашем этаже месяца три-четыре назад, заняв пустовавшую какое-то время двухкомнатную квартиру. Однако многие из жильцов в подъезде звали новосела и прежде, рассказывали, что он из «бывших». Из тех, что заседали когда-то в райкомах и совнаркомах, потом своевременно перебрались в другие кабинеты или, оставаясь в тех же, сменили вывески, смогли кое-что прибрать из народного добра к рукам, но удержать приголубленное не сумели. Вот и Лузгин сидел, говорили, и в директорах завода, и в председателях банка, и в каких-то депутатах. Потом потерял высоту — так и пророс в нашем доме, среди простого электората.

На первых порах Руслан Иванович сам о себе ничего не рассказывал. Визиты его носили чисто практический, проще сказать, утилитарный характер. Он мог послать в магазин за продуктами или в банк оплатить коммунальные квитанции. Однажды, посетовав на боль в спине, попросил сделать ему массаж. Мой отказ вызвал у него легкое удивление. Что у всякого другого могло бы показаться бесцеремонностью и нахальством, у Руслана Ивановича получалось естественно и просто. Познав, видно, когда-то услужливость и угождение, он по привычке продолжал считать себя вправе пользоваться людьми. Повседневную свою наготу объяснял тем, что ему во всякой рубашке душно, теснит сердце, замирает дыхание. Штаны же физические не может каждый раз надевать и снимать: из-за

жизноты не попадает в брючины ногами. А время просто не замечает, пять утра ему то же, что пять вечера. Так что простительно.

На нашем этаже три квартиры. Ближняя дверь перед Лузгиным категорически не отпиралась. И все же он всякий раз сначала подолгу звонил туда или стучал палкой, а потом уж шел к нам.

Со временем у соседа появилось новое амплуа — просить займы денег. На вопрос «Сколько?» отвечал: «Сколько мне надо, у вас все равно нет. Дайте что можете». Или: «Сколько найдется».

Много у нас не находилось.

— Больше не могу, — говорил я. — Да малый должок и отдавать легче.

— Представить не мог, что когда-нибудь мне, — понимаете, мне! — не будет хватать денег, и я буду считать дни до этой несчастной пенсии! — восклицал банкир. — А вот скажите, у вас почему нет денег? Ведь вы же где-то работаете?

Я отшучивался:

— Такая штука эти деньги: то их нет, а то их... совсем нет.

— Нет, деньги должны быть, — назидательно говорил Лузгин. — Знаешь, сколько у иных людей денег? Миллиарды!

И помолчав, добавлял с горечью:

— А вот у нас их почему-то не стало. Несправедливо!

Однажды Лузгин решил-таки преодолеть дверной проем и, пройдя в комнату, тяжело опустился в кресло.

— Посижу у вас, — объявил он. — А то целыми днями один, поговорить не с кем.

С первых же минут разговор завел все на ту же болезную тему:

— И как это я мог остаться без денег! Знаешь, еще недавно, после уж Марины Игнатьевны, жены моей, она два года как умерла, были у меня миллионы. Да, да, миллионов пять или шесть на счету. Женится внук — я два лимона на свадьбу. Помни! Дед же богатый, жизнь прожил не даром. Внучку понесло зачем-то в Канаду, учиться. Какая учеба у ирокезов? Отец ее, сын мой младший, Олег, совсем никудышный. Знает, придурок, только проматывать да жен менять. Вот она и надела: «Давай, дед, на Канаду». Что ж, бери, вот тебе лимон, разменяй на зелень. Два года как уехала и не звонит, ни мне, ни отцу. Жива там или ограбили и убили, никто не знает. Остальное Олег с Денисом — Денис это второй, старший, сейчас живет со мной, нигде не работает — у меня выманили. Да дом Денису построил, это еще прежде, шикарную виллу, теперь внук в ней с женой царствует, Дениса, отца, и на порог к себе не пускают. Смотрю: счета-то мои обнулились. Раньше деньги сами шли, как вода весной прибывает — не знаешь, откуда, а все поднимается, топит, сколько не черпай, не убывает. И вот пересохло, без прибýtка живу, куда-то все подевалось...

У Руслана Ивановича в глазах слезы, обвисшие малиновые щеки дрожат. Смотрит на меня, ищет сочувствия.

— А как я здесь оказался, в этой труппе, на сорока метрах, знаешь? — продолжает он после серии тяжелых вздохов и сморкания. — Жили мы с Мариной Игнатьевной в шикарной квартире в самом центре, в «барском доме». Шипилин со мной на одном этаже, всегда за руку... Ниже Трапезников. В тот дом просто так не попадают, вы понимаете. А как скончалась Марина Игнатьевна, сынки привязались: продавай квартиру, будем делиться. Денис против — ему бы досталась. А тот за нож, Олег-то, и не в шутку, в тюряге бывал, способен. Да еще и денег не стало,

не на что хоромы содержать, одна пенсия. Я поэтому условие: мне отдельную квартиру. Вот и нашли эту, подешевле, остальные деньги поделили и промотали. Дениса жена потом выгнала, прибился сюда же. «Хорошо, говорит, что хоть двушку тебе купили, а то мне в одной комнате с тобой пришлось бы храп слушать». Да сам-то здоровьем плох, почки, печень, сгубил в молодости, работать не может. Существует вдвоем на мою пенсию. Меня же и дураком обзывает: «Что ж ты, батя, говорит, банком ворочал, а обеспечить себя не смог? За границей бы жили. Люди вон замки и острова покупают». — «А что ж ты сам, говорю, не ворочаешься? Ехал бы за границу да наживал, нам бы с братом теперь помог. Не все же туда из страны тащить, можно изредка и в обратную сторону». Матерится! Пенсию получу — промотает в три дня.

Так стала проясняться канва жизни нашего соседа и подоплека его непрестанных просьб и мелких займов. Навещал он, как выяснилось, не нас одних. Этажом ниже живет с семьей Петр Давыдович, по фамилии Мостовой, прежний подчиненный Лузгина, тоже пенсионер. Но тому визиты бывшего начальничка быстро надоели, и он перестал открывать ему дверь. «Затаился! Не признает! — возмутился Лузгин. — Друзьями считались!»

— Ходит к вам брюхатый-то? — как-то остановил меня Мостовой. — Привык ногой двери открывать.

— Трудно ему, на ногах не держится, и помочь, видно, некому, — сказал я, чтобы переменить тон разговора. Но это Петра Давыдовича еще больше раздражило. Заговорил со старой прогорклой злостью:

— Это он сейчас такой жалкий, попрошайничает. А прежде! Целый завод ему достался, поскольку при грабильке сидел директором — так обобрал завод до нитки и по миру пустил. Три тысячи безработных, и я в их числе, а был начальником цеха. Дальше... С десятков предприятий для защиты от финансовых акул создали на паях свой промбанк. А руководителем Лузгина поставили, не нашли, дураки, никого лучше! Так наш Руслан Иванович что придумал — присоединить банк к большой инвестиционной компании. Только тут он плохо рассчитал — компаньоны банк слопали, а с ним делиться не стали, обобрали и выгнали. Потому и стучится к нам, что теперь ни друзей, ни денег. И дети знать не хотят. Опарыши!

Простоват Мостовой, старомодно мыслит! Не разумеет, что сильные хищники, пожирая слабых и мелких, расчищают поле — польза от того всему обществу и прежде всего нам, травоядным. Так теперь учит новейшая экономическая теория. Бедные и обманутые, утверждает она, во-первых, сами виноваты в своем положении, так как соблазнились на обман и не способны ничего изменить. А во-вторых, живут, подлецы, за счет богатых и преуспевающих, так что, если разобраться, сами-то и являются настоящими эксплуататорами. Опарыши, говорите? Да, размножаются они в гнилом мясе, пожирают его — но тем создают гумус для следующих поколений. Что толку корить теперь старика? Он тоже пострадавший, король Лир нашего подъезда, такая же перегоревшая почва. Сердцем мучается, опухает. Едва ли не каждый день вызывает «скорую».

Между тем юдоль Лузгина все больше скудела. Однажды он пришел с новой просьбой — пустить к телефону, связь у них отключили за неуплату. Я провел гостя к аппарату, попросив, правда, не звонить по межгороду. Сам тут же остался работать с компьютером. Впрочем, секретов у гостя и не было — стал он названивать в поисках денег. Начинать разговор, как обычно, издали, справлялся о жите-бытье, о женах и детях,

о службе и дружбе. Жаловался на нездоровье, извещал о предстоящем платном лечении. Из-за чего, мол, и возникла нужда одолжиться, всего-то на несколько дней, у депозита срок подходит.

Переговоры шли трудно. Руслан Иванович бодрился, пытался шутить и играть голосом, но с каждым звонком все больше наливался краской, злобно взглядывал на меня и сокрушенно вздыхал. Однако снова и снова пытался овладеть ситуацией, достучаться до тех, кого считал друзьями и родственниками, но которые давно уже отчислили его из своих, соскочили из кондуитов и забыли о его существовании. «Что ж такое, ни у кого нет денег, поиздержались. Врут ведь!» — потерянно бормотал он. И в десятый раз пролистывал засаленную записную книжку, перебирал визитные карточки.

Наконец блеснула надежда: кто-то пообещал выручить, велел позвонить на другой день. «Этот найдет! — Руслан Иванович глянул победно. — Такие дела с ним крутили! А до утра-то, может, вы мне одолжите?»

Назавтра Лузгин, бросив палку в прихожей, бодро устремился к телефону, с особой прилежностью набрал номер...

— Отключен или вне зоны действия, — недоуменно повторил он. — Как это вне зоны? Может, рано, спит еще? Подождем. Чашка чая у вас найдется? И конфету.

Каждые пять минут он дергался, звонил, извелся сам и меня утомил, но телефон надежды из недоступной зоны так и не вышел. Сник Руслан Иванович. Грузное мягкое тело его совсем потеряло контуры, тестом сползало с табурета во все стороны. Я помог ему подняться и довел до квартиры. Там, осев в кресле, Руслан Иванович отдышался и потом сказал доверительным тоном:

— Для чего я ищу деньги, знаете? Через неделю мне стукнет семьдесят пять. Юбилей, правильно? Положено отмечать. В ресторан мне не доехать, так здесь хочу собрать небольшую компанию. Коллег, товарищей, кое-каких родственничков. Вас с женой тоже хочу пригласить...

Он внимательно посмотрел на меня, ища признаков радости и одобрения.

— Вот деньги-то и нужны. Без роскоши, тридцати тысяч бы и хватило. Не так как прежде, конечно... Но все, знаете, попривыкли к дорогим винам и коньякам, даром что на самогонке взрослые. Говорил «на лечение», чтобы потом пригласить сюрпризом. А вот, видите... Так у вас-то, говорите, не найдется столько? На несколько дней?

Я обвел глазами квартиру — и содрогнулся. Пол, столы, мебель — все было завалено бинтами, склянками, тряпками, останками еды. Раскиданные постели. Спертая вонь. Гостей ли принимать в таком гноилице? И приберется ли кто к тому дню? Да ведь и сам Руслан Иванович не мыт, не стрижен. И где же сын Денис? Помнит ли о нем внук?

За стеклом буфета я увидел несколько фотографий в рамках и подошел посмотреть. Молодой мужчина, во весь рост, в светлой летней рубашке, статный, крепкий, с модной прической рок-н-рольного идола, с широкой белозубой улыбкой... Не Руслан ли Иванович?

— Да, я это, — сказал он, заметив мой интерес. — Каков красавец? Где-то там, посмотрите, Марина Игнатьевна. Девушкой тоже была ничего...

Я посмотрел и на девушку Марину Игнатьевну, скромную блондинку с простым, наивно-открытым лицом.

— Знаете, что мне иногда приходит в голову? — едва слышно молвил Руслан Иванович, может, просто подумал вслух. — Что жизнь проходит

слишком быстро. Костюм вон не успел износиться. И не стоит эта жизнь затраченных на нее денег. Совсем не стоит...

На другой день он снова пришел к нам и стал кому-то звонить, о чем-то просить, договариваться. Чувствовалось, что идея отпраздновать юбилей крепко засела у него в голове. Меня же заботило другое — как без обиды отказаться от приглашения, избежать посиделок в загаженной квартире, среди незнакомых и непонятных людей. Решили с женой исчезнуть на этот день куда подальше...

За два дня до объявленной даты, вечером, в дверь позвонили. Мы уж знали, что это Лузгин — у него была манера тяжело давить и мучить звонок пальцем, нетерпеливо постукивая при этом в дверь палкой. Он стоял, привалившись к косяку, и тяжело дышал. Глаза безумные, щеки горят.

— Зайти ко мне можешь? Надо поговорить, — объявил он без всяких приветствий и предисловий.

Пошли к нему. Лузгин свалился в кресло, мне показал на стул. Но я остался стоять.

— Надо позвонить в милицию, я прошу. Денис перешел все границы. Хамит, толкается, грозитя убить...

— А где он сейчас? Дома?

Дверь второй комнаты была закрыта.

— Не знаю, здесь ли, а может, ушел.

— Ну чем вам поможет милиция? — Я пребывал в полной растерянности. — Надо самим объясниться с Денисом. Дождемся его. Хотите, я с ним поговорю?

Руслан Иванович как будто задумался. Голова его плохо держалась, сникала на грудь. С трудом поднял он мутные глаза.

— Не знаю, хотел в милицию, чтоб его взяли. А не возьмут? Еще больше рассвирепеет. Понимаю, что я ему надоел. Какая ему жизнь со мной? Но разве я виноват? Мне и жить-то осталось... Помру не сегодня-завтра. Поговори с ним, поговори, как придет.

Я было направился к выходу, но Руслан Иванович остановил.

— Поможете послезавтра стол собрать? Денег я достал немного, но все остальное... На вас надеюсь.

Вот так докука! И как толковать мне с Денисом? Встречался он мне пару раз. Мужик лет пятидесяти, хмурый, небритый, под мухой. Не здоровается. Разве такого пристыдишь? Но и полицию звать не мое дело. Что она сможет? Какой повод? Им бы разойтись друг с другом. Но куда? И как Лузгину одному? Иов без Бога — вот он кто!

Тяжесть на душе все сгущалась. Проходя мимо, я с тревогой взглядывал на дверь, думая, что за ней. И все соображал, как бы отговорить старика от ненужного никому застолья.

Лузгин не приходил, и я его тоже не беспокоил.

Наступил тот самый день. Мы с досадой и тревогой ждали звонков, но никто не звонил. Между тем за дверью становилось беспокойно, раздавались голоса. Кто-то ругался, что-то роняли... Стучали, но не в нашу дверь. Опять слышались крики. Потом стихло.

Под вечер нам таки позвонили. На площадке переминалась люди в фуражках, офицер и несколько рядовых.

— В той вон квартире труп, похоже, убийство, — сказал офицер. — Ваши показания тоже потребуются, потом вызовем.

Приехали санитары, что-то большое поволокли в черном мешке.

## РАННИЙ ПОРОХ, или КАК Я СТАЛ ЖУРНАЛИСТОМ

В клубе стройтреста по выходным танцы. Девушки стоят вдоль стенок или, пока не определились кавалеры, танцуют друг с другом. А ты только глаза переводишь, ищешь, чтоб сердце екнуло, подсказало: это она!

В школе у нас бывали и свои вечера. Но какой интерес топтаться под надзором учителей, а потом провожать наших скромниц! В шестнадцать лет встревоженная душа рвалась к свободным и веселым девчонкам из строительного училища. Почти все они с Украины, приехали на целину из своих колхозов за паспортами, вольной жизнью и женихами. Не знаю, на каких конкурсах их там, на Украине, выбирали, но только от некоторых трудно было глаза отвести. Да, потом в жизни у меня были большие города, университеты, редакции, путешествия, а только такие, как там, в целинном поселке, почему-то нигде больше не встретились...

«Самая-самая» из них Аня Заводская. О ней сначала мне ребята рассказывали: ух, какая! Я ее, между прочим, отклеил от Сашки-электрика. Парень был старше меня, к тому же не из местных, командированный из самого Кустаная. Стиляга: бутылочного цвета пальто, красный толстый шарф вокруг шеи. Но в тот вечер на танцах Аннушка стояла одна. Серые глаза на круглом лице с ямочками смеялись и звали. Сердце забилося. Подошел, пригласил. И после второго же танца позвал на улицу — что изнывать в духоте!

Стоял март, только что отшумел буран, поселок был завален сугробами. Долго мы бродили по прокопанным снежным туннелям в рост глубиной. У какого-то забора остановились. Минута отчаянная. Знал я и помнил, что в первый вечер к девчонке, хоть и бывалой, лучше не лезть. Правило тогда действовало неписаное, но твердое (нынче, кажется, его отменили?): поцелуи начинать не раньше, чем с третьего свидания, иначе можно и по щеке схлопотать.

Анечка, по тогдашней моде, в мужской меховой шапке, большой и пушистой, и в шубке, а я налегке, в куртке и с голыми руками. Молодечеством считалось тогда у нас ходить по морозу без шарфа и перчаток. Она увидела, что я руки в карманы прячу, а на нее лишь робко взглядываю — сама шубку свою распахнула:

— Грей руки о мой свитер, он пуховый, мама вязала.

Помнится мне и сейчас этот свитер — мягкий, нежный, горячий!

Пошли свидания, каждый вечер. Заходили с ней в недостроенные объекты, и там на древесно-волоконистых плитах:

— Ну, ты и нахал! Пуговики оборвешь! Дай сама расстегну. В школе, что ли, вас этому учат?

Про школу нарочно, меня позлить.

Жил я у тети, и она уж за школьное мое успеванье забеспокоилась: девятый класс, а с физикой-химией у меня нелады, классный руководитель пожаловался. Но если вечер подходит, а с Аннушкой назначено, и вкус ее вишневой помады на губах — какая сила остановит в шестнадцать лет!

Все же нашлись вихри враждебные! Политрук училища, свирепый наш гонитель, среди ребят звался Полковником. Сейчас-то, конечно, могу посочувствовать ему, как представляю под своим надзором двести пятнадцати — семнадцатилетних девчонок. Вишенье цветущее, белая черемуха! А шмели-осы так и вьются, так и гудят...

Полковник — он в самом деле был из военных, не знаю только, в каком действительно звании — воспитывал привычным ему порядком. В клуб и в баню подопечных водил по поселку строем, на воротах училища устроил КПП с дежурными, выход за территорию — с увольнительной. По периметру училища возвел глухой забор. Да все равно: то в одном, то в другом месте от забора сами собой отваливались доски и возникали лазы. В отчаянии додумался Полковник опутать ограждение колючей проволокой, грозился даже ток по проволоке пустить. Фронт есть фронт — и никакого братанья! Трудно стало встречаться. Только с танцев в субботу можно сбежать вдвоем в весеннюю темноту.

Тут и май подоспел, праздники. Гуляли мы по поселку с гитарой. И не заметили, как забрели на заповедную территорию. Встретил нас Полковник неспраздничными матюгами. Выхватил гитару у Кольки и вдребезги разбил об асфальт. Не стали мы связываться и ушли.

И задумал я мщение — не пацанское-хулиганское, а серьезней: написать фельетон в районную газету. Дорогу в редакцию я знал, да более того, с некоторых пор числился у них юнкором. Еще в восьмом классе, надумав выходить на широкую дорогу литературы, отправился на велосипеде в райцентр со стихами. Как сейчас вижу: тучный Жаназар Бокеевич, редактор, разглядывает меня с легкой усмешкой, подвигает пиалку с чаем, а сам берет и читает мои листки. «Вот это, про целину, можем поставить», — говорит он. Еще бы! Я же тот стихок специально и сочинил, понимая, что элегии и мадригалы (а стихосложению я учился у классиков) мало подходят для будничных страниц районки.

— Стихи хорошо, а не хочешь ли попробовать себя журналистом? — продолжал редактор. — Написал бы, как элеватор готовится к приему нового хлеба. Возьмешься? Я позвоню директору.

На другой же день я отправился на элеватор. И директор собственной персоной показывал мне, мальчишке, бетонные амбары, рассказывал, объяснял. Целую тетрадку я тогда исписал и повез в редакцию. И снова Жаназар Бокеевич читал, посмеивался, что-то черкал. А в газете заметка вышла совсем маленькая и с чужими словами, не узнать. Это я потом понял, что в газетах язык особый, специальный, он вроде бы и похож на человеческий, но все равно какой-то другой, каким в жизни люди не говорят. Главное — вышла же, вышла заметка, под моим именем! А потом и вторая, и третья. Так забрезжил манящий свет славы.

А мне не дают видеться с Анечкой! Сердце горело, ум пылал. Взявшись за перо, я без лишнего политеса назвал установленные Полковником порядки тюремными, самого его самодуром и тираном, кажется, даже сравнил ПТУ с фашистским концлагерем. Закончил же фельетон железным выводом: муштрой и грубостью, мол, нельзя заменить сложную и многогранную воспитательную работу с молодежью, к какой призывает нас партия и комсомол. И заголовок дал беспощадный — «За колючей проволокой».

Конечно, «концлагерь, самодурство и тиранию» редакция вырезала, но все остальное оставила. Главное — заголовок. Материал получился громовой! О нем говорили в школе. Я ходил по поселку героем. И на другой вечер, конечно же, отправился к воротам училища. Меня окружили друзья. Дежурные с интересом посмотрели в мою сторону и тут же стали накручивать телефон. Спустя минуту на КПП показался Полковник. Дружки быстро ретировались, а я остался стоять. Во мне появилось самоуважение. Полковник подошел и неожиданно протянул руку:



— Надо поговорить.

— Давайте.

— Не на улице.

Я пошел за Полковником на территорию. Не станет же он меня теперь бить! Зашли в его кабинет, Полковник предложил папиросы. Закурили.

— Что ты выступаешь? — непривычно тихо спросил Полковник. — Кому это нужно?

— А что — неправда?

— Да не в том дело! Не мог придти, сказать по-человечески? Да знаю я, к которой ты ходишь. Ну и ходи, ты ж парень нормальный, не хулиганишь. А подлянку устроил. Из райкома звонили. На хрена мне такая летка-енька?

Я покуривал и молчал.

— Колючку я, конечно, сниму. А за девчат кто будет отвечать? Вы с Бокеевым? Перепортят всех, — озабоченно проговорил Полковник.

— А что — жалко?

Он хмуро посмотрел на меня.

— Мне что, этому добру все равно пропадать. Но порядок-то должен быть...

Молча докурили.

— Вот что, — подвел черту Полковник. — Я как-нибудь отбрешусь, но и ты больше не дуди. С Анькой гуляйте.

Так ощутил я силу печатного слова.

Через месяц, в июне, Аня закончила ПТУ, послали ее работать в отдаленный совхоз. Уехала, почему-то не попрощавшись. Полковник дал мне ее адрес. Я написал письмо со стихами. Она ответила спустя месяц парой фраз: «Извини, но все-таки ты еще салага. А мне жизнь устраивать надо. Выхожу замуж. Не горюй, учись хорошо, слушайся тетю. У тебя все еще впереди...»

Вот и верь после этого, что женщины падки на известность и славу!

## БЕСКОНЕЧНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ

### *Рассказ потерянного*

*В зеркало он посмотрел на себя,  
отошел и тотчас забыл, каков он.*

(Иак., 1,24).

Вот я, весь тут, под низкими потолками, среди истертых каких-то фигур, теснюсь к стойке, шапка в руке, а подойти не могу. Нет, никто не отталкивает, они, в очереди, стоят ко мне тылом, видны одни спины. В тужурках, пальтецах, напирают на прилавок, от возбуждения негромко сопят, но, нет, не скандалят, не задираются. Похоже, просто не замечают меня.

Другого объяснения не нахожу. Когда я в очередной раз пытаюсь встать в строй, чтобы, так сказать, в общем порядке предстать наконец перед раздатчиком питья, посетители с хмурой оглядкой сдвигаются, плотнее заполняют брешь, и я опять оказываюсь за их спинами. Случалось, что я все-таки вдавливался в плотную шеренгу, даже открывал пересохший свой рот для произнесения нужных просительных слов, но бу-

фетчик всякий раз отворачивал от меня лицо свое и отдавал полную кружку другому.

Со стороны может показаться, будто я лезу нахрапом, без очереди, а буфетчик потому и не желает иметь со мной дела, что приучает к порядку, к соблюдению прав. Да, именно так оно может выглядеть. На самом же деле я уже не раз и не два пристраивался в самый конец, это могут и подтвердить, хотя вряд ли найдутся тут желающие кому-то что-то доказывать. И мне ли не знать, что среди жаждущих мужчин не только неловко, но и небезопасно лезть напролом, особенно людям с мелкой комплекцией. Нет, я не беру на себя лишнего и вовсе не прочь постоять. К тому же и очередь-то так себе, человек десять-двенадцать, не больше. И поскольку кроме питья и какой-то сушеной рыбешки, которую никто даже и не думает брать, за прилавком ничего нет, подвигаются довольно быстро. Но что мне с того? Всякий раз, когда я приближаюсь к распорядителю, он отводит глаза в сторону или, еще нелепее, смотрит сквозь меня, будто я стеклянный, и я опять отхожу ни с чем. Переждав какое-то время, попытавшись раз-другой, всякий раз безуспешно, я опять пристраиваюсь в хвост очереди.

Готов признать, что отчасти тут я и сам виноват. Прилипла в последнее время привычка говорить без голоса, передвигаться столбом вкопанным, смотреть без всякого выражения, а то и закрытыми глазами. Хотя, с другой стороны, надо понимать, что совсем не такое здесь место, чтобы показывать характер. Пришел — так терпи. Сам ошущаю и от других слышал: спускаешься сюда, переступаешь порог — и весь состав твой меняется, силы оставляют, становишься сам не свой, чужой себе, непривычный. Конечно, вот эти, отпетые, получают положенное, но что это за «положенное» — всего лишь кружка питья, да и питья-то, похоже, самого дрянного, судя по кислому цвету, а на большее никто не претендует и не надеется. Я даже не уверен, несмотря на духоту и жар, что стал бы пить эту муть, достанься она мне, а не вылил ее незаметно куда-нибудь в угол. Да и пиво ли это на самом деле — никто толком не знает. Но все стоят и ждут, разинув рот на распорядителя.

Впрочем, сейчас меня занимает не это. Мне бы понять, за кого меня здесь принимают. Чего доброго, за попавшего не в свой час проходимца, без наличной копейки за душой. Много у меня и в самом деле нет, но на кружку хватит, единственную, последнюю. Так дайте мне ее в руки, а потом уж и гасите свет. Но не раньше, не раньше! С этим я не смирюсь.

Если начистоту, есть у меня причина вести себя здесь тише да незаметнее. Все дело в распорядителе (он же буфетчик, других должностных лиц в заведении что-то не видно). Физиономия его сразу, как только смог я разглядеть сквозь испарения, кого-то напомнила, показалась знакомой до неприятности. Потом понял: хмуро-брюзгливый буфетчик — копия давнего моего начальничка. Но ведь того давно нет в живых. Когда его хоронили, вышла еще такая забавная аллегория. Гроб, значит, с телом стоит в каком-то клубе. А в фойе, прямо перед входом в зал, плакат фильма «В смерти моей прошу винить Клаву К.» Заглавие большими красными буквами, забыли убрать. Входит вдова, к началу церемонии, и сразу ко мне (я был вроде распорядителя, с повязкой на рукаве). И этак с гонором: «А кто такая, скажите, эта Клава К.?» Я, конечно, тут же содрал плакат, смял и сунул в карман. Но это ее еще больше взбеленило. «Нет, не прячьте, вы обязаны мне сказать, кто такая Клава К., какое отношение она имела к моему мужу и чем довела его до смерти». В общем, жут-

кий скандал, едва не отменили всю церемонию. Если все это было не с ним, то, пожалуй, я готов извиниться. Если же нынешний буфетчик действительно тот самый тогдашний начальник, вполне тогда понимаю, почему такое со мной обращение. Злопамятен, ох, злопамятен! Допускаю, что были у него основания считать меня разгильдяем, не горел я тогда на службе. Но и порядка не нарушал. А ведь он, пожалуй, считает меня виноватым, что потом его сняли с должности. В этом, в этом все дело! И напрасно он так считает — я-то чист перед ним.

Начнись откровенный разговор с буфетчиком, легко мог бы доказать свою непричастность к тем давним его неприятностям, заодно и раскрыть ему глаза на тех, с кем он тогда пил и кого продвигал. Но кому нужны сейчас эти выяснения, спустя столько лет, да еще в темной яме! Впрочем, другой на его месте, наверное, рад был бы случаю объясниться и выяснить отношения. Другой, но не он. Впрочем, может быть, это и есть другой, а не он. Здесь такой свет, что и сам себя узнаешь с трудом. К тому же теряешь всякое представление о времени. Когда тащился сюда, на улице сиял зимний день, глаза слепил снег. А что там сейчас? Никто не скажет. Вообще-то я не из любителей пива, зимой предпочел бы горячий чай. Да где взять! Сюда зашел просто погреться. Поначалу обрадовался многолюдству, так незаметнее, можно постоять подольше. Пивная на углу, — ну, знаете, конечно, бывали — она очень тесная, столов и стульев в ней нет, пьют стоя, а для опорюженных кружек прибиты к стенам узкие полки. Да что за полки, просто плохо обструганные доски. Тут ни посидеть, ни подремать, зато тепло, руки-ноги оттаивают. Из носа течет, но лишь самое первое время, быстро обсыхает.

Между прочим, видимость забегаловки обманчивая. Кажется, теснота и убогость, а помещается бесконечная уйма народа. Все это время, что я здесь, люди прибывают и прибывают, а ведь ни один еще не вышел наружу. Взять те же стены, когда-то покрашенные в серый цвет, а теперь затертые и облупленные, — кажется, вот они рядом, жмут, теснят, рукой дотянуться. Но человек направляется с кружкой, а стена съеживается, пятится от него, отодвигается, как горизонт в поле. А потолок? Низкий, тусклый, с подтеками, давящий душу — а сквозь него видны летящие облака, мелкие звезды, иногда сыплется снег. Между тем всюду теснота, испарения, удушье, свет такой тусклый, что лиц почти не видать — так, пятна какие-то плавают, как жиринки в бульоне, и булькают ртом.

Главное, нет надежды когда-нибудь допроситься. Ни малейшей надежды! Я начинаю догадываться, что объяснение странностям вовсе даже не в буфетчике, надо брать выше. Люди попадают впросак нередко из-за того, что, скажем, рождаются не в свое время. Или не в том месте. А здесь всюду такие порядки. Это вообще какой-то невразумительный город. Жители здесь молчат, а если и общаются, то через смартфоны, говорят что-то случайное, из первых же подвернувшихся слов, чаще бессмысленных или вздорных. Речь сбивчива, из незаконченных предложений, восклицаний и всяких подхваченных новых выражений, смысла которых говорящие не понимают и потому часто используют не по назначению. Начиная что-либо обсуждать, они вскоре забывают предмет, и обсуждение оканчивается криками, визгом, а то и потасовкой. Бывает, спорщики оголяют и показывают друг другу известные части тела, это у них заменяет доказательства. Но для вида держат умные лица. Впрочем, это искусно нарисованные маски, никто толком не знает, есть ли у них лица и какие они.

В городе нескончаемые потоки машин. И все едут понапрасну, без всякой надобности, только потому едут, что есть машина, в руках ключ, она заводится. Перемещаются попусту, кругами, потоками, выбирая трассы погуще, между тем все торопятся, свистят и грозят друг другу, жмут на клаксон, стараются опередить — кто по тротуару, кто на красный свет, кто сбив ребенка. У каждого бессмысленный маршрут, никуда не ведущий, потому что не сам он его выбирал. Тот, кто выбирает за них, тот один и знает — куда. Он крутит барабан. Остальные крутятся.

И зачем только я здесь оказался! Без конца спрашиваю себя: зачем? И не нахожу ответа. Сколько времени я здесь? Кто знает! Я ведь направился сюда по какому-то делу, кажется, по служебному, как будто в командировку. Тогда где же мои документы, где паспорт? В карманах давно ничего нет. Помню, что прибыл поездом. Вышел из вокзала — кругом лужи, как зеркала, в них солнце и облака. Значит, была весна, потому что искрилась грязь, кричали грачи, пахло помойкой. В гостиничном буфете ел сыр. Вечером ходил по улицам, рассматривал здешних девиц. Когда с приобретенным обратным билетом вернулся в гостиницу, номер был заперт. Ключа на месте не оказалось — его унесли с собой новые постояльцы. Ждал их, не мог же уехать без вещей. Постояльцы, их было двое, вернулись поздно, почти что ночью, когда мой поезд давно ушел. Но и в номере, когда вошли, не обнаружилось ни чемодана, ни сумки. Я осматривал шкафы, ползал, заглядывая под кровать, а жильцы стоя молчали. Потом один из них сказал: «Уж не думаете ли вы, что мы их присвоили?» Второй добавил: «Пора бы уж спать!» и выключил свет.

Я вышел из номера. Коридорная объяснила, что вещи могли отнести на хранение в гостиничный склад. В таком случае, сказала она, выдать их мне смогут лишь в девять утра с приходом кастеляна. Ночь я провел на диванчике в коридоре. Но утром кастелян не явился. Не было его ни в полдень, ни вечером.

— Прямо загадка какая-то! — вздыхала администраторша. — Небы-валый случай! Телефон не отвечает. Что я могу посоветовать? Только ждать. Наберитесь терпения. Если и завтра кастелян не придет, возьмем попятых и откроем дверь сами.

Представьте мое состояние! На другой день администратор взяла двух горничных, вахтера, вызвала знакомого полицейского. Монтировкой отжали дверь и вошли на склад забытых вещей. Я полдня, чихая от пыли, разбираю завалы. Но вещи не находились.

— Не мог же он увезти их на центральный склад объединения отелей, притонов и исправительных заведений! — возмущалась администраторша. — Но вы не теряйте надежды. Со дня на день в объединении начнется серьезная ревизия всех кастелянов и тогда их темные делишки обязательно всплывут наружу. Не могут у нас вещи постояльца кануть бесследно, такого еще не бывало. Я вам советую дозвониться вот по этому телефону до руководителя службы информации и контактов. Это нелегко, но вам же все равно нечего делать. А он уж подскажет, как быть, и какие у вас есть права на дальнейшее проживание. Только, прошу, разговаривайте с ним повежливее — очень обидчивый. Но дело свое знает, любой вопрос у него от зубов отскакивает.

Я подсел к стоявшему на подоконнике старенькому аппарату и накрутил номер. В ответ включилась музыкальная автоматика, после непродолжительного концерта механический голос объявил, что я на связи со службой информации и контактов объединения отелей, притонов и испра-

вительных учреждений, что я поставлен в очередь под номером сорок семь, что необходимо ждать, что мне обязательно ответят, что я даже обречен на ответ. В ухе опять завертелась музыка, то есть не музыка, конечно, а хиты и шлягеры, музыки ведь на свете теперь не осталось. Минут за пять меня довели до позиции 46. И опять по ушам надавали шлягерами! Положил трубку, вышел покурить, поболтал с администратором — все это приблизило к цели на четыре позиции. Тогда я пошел обедать. Погулял по городу. Когда вернулся и снова припал к трубке, сообщили, что я числюсь шестым номером. Время, вперед! Вперед, время! Пять, четыре, три, два... Прокашлялся, мне говорить. Вот-вот подключится всяду сущий, всеведающий, преклонит ухо ко мне, с ним можно объясниться, ему нужно открыться, он все поймет, прояснит, почувствует, наладит, исправит. Не может же он не помочь! Даже обязан, как ответственное лицо, а по закону...

Но что это? Голос в трубке, тот же пластмассовый, компьютерный, продиктовал, что я на связи, что поставлен в очередь вторым номером, что мне обязательно ответят, что я обречен на ответ. Позвольте, я только что был вторым, пора мне быть первым! Меня обязаны подключить, выслушать, ответить по существу! Тут недоразумение, сбой, автоответчик не исправен! Должен же кто-то, хит вам в уши, заметить ошибку! Но автомат неумолим, меня, как шар бильярдный, посылает на позицию №3. Сомнений нет — пошел обратный счет. Тот, на другом конце провода, только приблизился, невидимый и не постижимый, и тут же повернул обратно, не вступив в контакт, не желая слышать. А меня сбросили уже на четвертый номер. Тут я закричал, взвыл, кажется, куснул кого-то... Меня вынесли на улицу.

Последующие дни я отирался на вокзале, встречал и провожал поезда, спал урывками, поскольку начиналось лето, на скамейках в зеленых дворах, бывал бит, ограблен, попадал в полицию, встречался с какими-то женщинами. Вещи мои все не находились. Кастаньян, как потом и в газетах писали, прихватив кассу, бежал с молоденькой горничной за границу. И в моем чемодане теперь на какой-нибудь веранде в Мальорке держат незрелые помидоры.

...Очередь между тем сохраняется, она стала даже длиннее, так как пиво течет вязко, медленно, из-за чего буфетчику приходится подолгу держать посудину под соском. Наполняет он кружки теперь лишь наполовину, даже меньше, но жаждущие не только не возражают, но и сами показывают знаками (ребром ладони у горла), что ждать им больше не вмоготу и лучше хоть глоток, чем вообще ничего. «Да пусть бы оно и вовсе кончилось, — думаю я. — Тогда можно будет уйти, не навсегда же мне здесь». Трудно дышать, как будто из помещения высосали весь воздух.

Тут от стойки отклеивается один тип. Вижу, вместе с пивом, едва ли не первый за все время, несет он и сушеную рыбу. Таким образом, обе руки у него заняты, и не знает он, горемычный, где бы пристроить кружку, чтобы заняться той рыбой. Столов, я уже говорил, в заведении не держат, а стен с полками совсем не видно стало из-за сгустившегося тумана. И вот он, бедолага, растерянно и жалко оглядывается. Еще немного — и выпадет у него из рук рыба или опрокинется кружка, все в тартарары. Отчаянное положение, скажу я вам, жалкий миг равновесия, когда человеку еще возможен какой-то выбор. И тут он, похоже, от безвыходности, кидается ко мне. Выходит, различает он меня, признает мое существование, соглашается с моим наличием! Я тоже вижу его и готов прийти на помощь.

Хотя и удивленный в этом-то городе жители вовсе тебя не замечают, сколько на них ни смотри. Здесь удача перейти улицу, не покалечившись. Водители машин просто не видят пешеходов, не признают за ними права на бытие. Потому желающие, в силу каких-то надобностей, оказаться на другой стороне улицы скапливаются на перекрестке большими стайками, чтобы, если уж рисковать, то всем вместе. Потом задние начинают теснить передних и потихоньку выдавливают их на проезжую, первые несколько горожан, понятное дело, гибнут под колесами, остальные перебегают. И ведь так каждый раз!

И вот смотрю я на человека с кружкой и рыбой, а он на меня. И вдруг он изрекает:

— Подержи-ка, будь другом.

Передаст мне посудину из рук в руки. Явственно слышу запах вожделенного пойла — оно отдает сырой глиной с тонкой примесью картофельной гнили. Я держу кружку, а он принимается за рыбу. Она небольшая, длиной с ладонь, узкая и плоская, но с крупной лобастой головой. Самое выразительное в рыбе — глаза. Рыба вяленая, а глаза живые. Льдисто-голубые, как у какой-то балерины, они с явным интересом и детской доверчивостью смотрят на нас. Я ощущаю веселый дружелюбный взгляд рыбы и тоже киваю ей. Серебряная, хрупкая, тонкая, она и телом похожа на танцовщицу, подкинутую в воздух партнером и так в полете застывшую. Вот, думаю, что за судьба — родилась и взрастала где-нибудь в морях под Южным Крестом, обладая невероятной навигацией, без Солнца и звезд находила путь в непроницаемых глубинах. Хрупкое тельце выдерживало давление толщ, способное сплющить стальную подложку. Обладала даром производить потомство, значит, испытывала влечение, пожалуй, даже превосходящее наши чувства по красоте и силе: ведь рыбы ради мгновенья любви преодолевают маршруты в половину земного экватора. Кто из нас на это способен? А ее изловили, высушили и бросят сейчас, при мне, в эту самую минуту, растерзав, под ноги на грязный пол. Зачем так?

— Да что ты о рыбе! — говорит вдруг посетитель, отколупывая от тушки худые волокна и отправляя их в рот. — А хоть бы и настоящая балерина — судьба-то одна. Эта плавала, та порхает под музыку — и так же берут ее на десерт после ужина и обрывают крылышки, как я эту шкурку. Да и эти вот, — он обвел глазами стоящих в очереди, — разве кто из них заслужил такой доли? А ты говоришь — рыбка!

Вообще-то я не сказал ни слова. Разделавшись с тушкой и побросав ее останки на пол, пивопивец забирает у меня кружку:

— Твое здоровье!

— Какое здоровье, — говорю я, — когда меня, может быть, и вовсе нет.

— Как нет, если ты смотришь на меня и думаешь обо всем. Хочешь, и тебе нальют?

Он бросается к стойке, но тут же возвращается без ничего:

— В бочках сухо, буфетчик заснул.

Посетители продолжают прибывать, но шумнее от того не становится, наоборот, все меньше движения, толкотни. Кто с кружкой, кто порожний — все дремлют, смежив веки, стоят, покачиваясь, подобно водорослям в тихой воде или отражениям ив. От опадающей тишины, от ощущения наступающей свободы заходится сердце и начинает ломить в висках.

— А вообще-то тебе пора убраться, — вдруг говорит хмырь, наводя на меня мутный взор.

— Но ведь я так и не получил того, зачем приходил, — говорю я.

Пивопивец не отвечает — я вижу, он спит, свесив голову себе на плечо.

— Не положено, закрываемся, попили-поели, насвинячили, здесь не место, все прошло, миновало, пора, брат, пора, — бормочет во сне буфетчик. Голова его, как отрубленная, валяется на прилавке, сама по себе, без рук и без шеи. За ночь у буфетчика успела вырасти седовато-сивая длинная борода, теперь она мокнет тут же в пивной луже.

«Свободен, свободен, наконец-то свободен!» — говорю я себе, проталкиваясь к выходу, переступая павших. Наощупь отыскиваю в стене дверь, толкаю, она отворяется с тяжким стоном — и я оказываюсь на улице.

Светает, из темноты проступают какие-то строения. Воздух легкий, веселый. Похоже, снова весна. Нет, раннее лето: деревья в листве, молодой, не пыльной. Бодро, по-утреннему, перекликаются птицы. Я иду гулкой пустой улицей в жемчужно-розовых бликах рассвета — и с какого-то момента начинаю узнавать встречные дома, переулки, фонари, деревья.

И тут до меня доходит, что тот, чужой, вчерашний, город кончился, слинял вместе с прошедшей ночью, смыт весенним дождем, а вокруг новорожденный свет. И я не просто влачусь, как попало, неизвестно куда и зачем, лишь бы двигать ногами, а иду к своему дому, оттого спешу, спотыкаюсь, готов полететь. Я вспомнил, я знаю, где повернуть, на чем подъехать, чтобы вернуться туда, где меня ждут. Они не успеют проснуться, как я постучусь.

